

Б. Лавренев

Комендант Пушкин

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Б11

Б11 **Б. Лавренев**
Комендант Пушкин / Б. Лавренев – М.: Книга по Требованию, 2015. – 40 с.

ISBN 978-5-458-03521-7

ISBN 978-5-458-03521-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2015
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2015
© Б. Лавренев, 2015

Военмор спал у окна.

Поезд тащился сквозь оттепельную мартовскую ночь. Она растекалась ледящей сыростью по окрестности и по вагонам.

От судорог паровоза гусеница поезда скрипела и трещала в суставах. Поезд полз, как дождевой червь, спазматическими толчками, то растягиваясь почти до разрыва скреп, то сжимаясь в громе буферов.

Поезд шел от Петербурга второй час, но не дошел еще до Средней Рогатки. Десятилетний год нависал над поездом. Мутной синевой оттаивающих снежных пространств. Слезливым туманом, плывущим над полями. Тревогой, мечущейся с ветром вперегонки по болатным просторам. Параличом железнодорожных артерий.

Военмор спал у окна.

Новая кожаная куртка отливала полированным чугуном в оранжевой желчи единственной свечи, оплакивавшей в фонаре близкую смерть мутными, вязкими слезами.

Куртка своим блеском придавала спящему подобие памятника.

С бескозырки сползали на грудь две плоские черные змейки. Их чешуя мерцала золотом: Балтийский экипаж.

Военмор спал и храпел. Храп был репный, непрерывный, густого тона. Так гудят боевые турбодинамо на кораблях.

Голова военмора лежала на плечо девушки в овчинном полушубке и оренбургском платочке. Девушка была притиснута кожаной курткой к самой стенке вагона – поезд был набит до отказа по девятинадцатому году. Ей, вероятно, было неудобно и жарко. Военмора она увидела впервые в жизни, когда он сел в поезд. Она явно стыдилась, что чужая мужская голова бесцеремонно лежит на ее ключице, но боялась пошевелиться и испуганно смотрела перед собой беспомощными, кукольными синими глазами.

Поезд грянул во все буфера, загрохотал, затрясся и стал.

Против окна на кронштейне угрюмо висел станционный колокол, похожий на забытого повешенного.

От толчка военмор сунулся вперед, вскинул голову и провел рукой по глазам. Кожаная скорлупа на нем закрипела. Он повернул к девушке затекшую шею.

– Куда приехали?

– Рогатка...

Из распахнувшейся входной двери хлынули морозные клубы.

Сквозь них прорвался но допускающий возражений голос:

– Приготовить документы!

Переступая через ноги и туловища, по вагону продвигалась длинная кавалерийская шинель. Ее сопровождал тревожный блеск двух штыков.

Шинель подносила ручной масляный фонарик к тянущимся клочкам бумаги. Тусклый огонь проявлял узоры букв и синяки печатей.

Шинель была немногословна. Она ограничивалась двумя фразами, как заводная кукла.

Одним бросала:

– Езжай!

Другим:

– Собирай барахло!

Военмор не торопясь расстегнул тугую петлю на куртке, вытащил брезентовый бумажник. Из него – второй, кожаный, поменьше. Из кожаного – маленький кошелек. Шинель впервые проявила признаки нетерпения:

– У тебя там еще с десяток кошельков будет?

Военмор вынул из кошелька сложенную вчетверо бумажку.

Свет задрожал на бумаге. Кавалерийская шинель нагнулась, читая:

ПРЕДПИСАНИЕ

Состоящему в резерве комсостава военному моряку

А. С. Пушкину

С получением сего предлагаю Вам направиться в город Детское Село, где принять должность коменданта укрепрайона. Об исполнении донести.

Начупраформ Штаокр Симонов.

Кавалерийская шинель сложила листок и, отдавая, недоверчиво поглядела на кожаную статую военмора.

– Это ты, значит, Пушкин?

Военмор слегка повел одним плечом, и черные шелковые змейки вздрогнули.

– Нет, моя кобыла! – сказал он с неподражаемым морским презрением к сухопутному созданию и отвернулся, пряча бумажник.

Кавалерийская шинель потопталась на месте. Видимо, хотела ответить. Но либо слов не нашла, либо не решилась. Был девятнадцатый год. Военмор принадлежал к породе людей-бомб. Неизвестно, как взять, чтобы не взорвалась.

Выручил звонок.

Хриплым воплем удавленника разбитый колокол трижды простонал за окном, и шинель, оттаптывая ноги, рванулась к выходу.

Военмор покосил взглядом вслед, после поглядел на девушку и, подмигнув, сказал вежливо и доброжелательно:

– Сука на сносях! Не знай, где родит...

Девушка опустила ресницы на кукольные глаза и длительно вздохнула. Вздох утонул в раздирающем скрежете, звоне и громе. Поезд тронулся.

Снежит.

За колючей щетиной голых деревьев рассвет медленно поднимается, пепельно-серый и анемичный, как больной, впервые привстающий на постели.

В запорошенных снегом уличных лужах вода стоит тусклым матовым стеклом. Ступни оставляют в нем пробоины с разбегающимися трещинами.

Вороны оглашенно приветствуют рождение дня.

Они носятся над парками, над крышами, над льдисто сияющим золотом куполов.

Военмор останавливается на углу, против овального садика, обнесенного простой решеткой из железных прутьев. Путь от вокзала утомителен – ноги дрожат от напряжения, вызванного ходьбой по замерзшим лужам.

Военмор ставит на выступ крыльца походный чемоданчик, сняв его с плеча. Свертывает махорочную сигарку, вставляет ее в обгоревший карельский мундштук.

Императорское поместье раскрывается ему за деревьями сада филигранью парадных ворот дворца, игрушечными главками дворцовой церкви, порочной изнеженностью лепки и пышностью растреллиевских капителей.

Военмор курит и смотрит на все это настороженным, подозрительным взглядом. Он не доверяет пышным постройкам, деревьям, накладному золоту, он чувствует за ними притаившегося врага.

Докурив, поднимает чемодан и входит в овальный загон садика.

Сухая трава газонов пробивается сквозь топкий слой обледеневшего наста. Ветер гонит поземку. Бьет в лицо иглами. Звездчатые пушинки пляшут в воздухе.

За низкой чугунной изгородью темнеет гранит постамента. Бронзовая скамья. На ней легко раскинувшееся в отдыхе юношеское тело. Склоненная курчавая голова лежит на ладони правой руки. Левая бессильно свисает со спинки скамьи.

В позе сидящего есть что-то похожее на позу военмора, когда он спал в вагоне. Может быть, даже не в позе, а в тусклом отблеске бронзы, напоминающем блеск кожаной куртки.

Военмор бросает равнодушный взгляд на сидящего.

Еще шаг. Взгляд сбегает ниже. Цепляется за постамент.

Военмор резко останавливается, не закончив шага, и круто по-

ворачивается к памятнику.

Лицо его темнеет от внезапного толчка крови. Дыхание обрывается шумным выдохом.

Он смотрит на постамент. Брови сдвинуты в огромном и тревожном недоумении. Две строчки, вырезанные на постаменте, привоздили его к месту.

Внезапно он кладет, почти бросает чемодан к ногам. Из кармана вынимается брезентовый бумажник. В руках у военмора маленькая коричневая книжка. Он смотрит в нее. Переводит глаза на гранит. На партийном билете он видит:

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ПУШКИН

На полированном граните:

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Военмор произносит вслух оба текста. Только в одном слове они не сходятся: четыре буквы отчества разрывают таинственно возникшую связь.

Александр Семенович Пушкин оглядывается.

Сад пуст. Только они вдвоем – бронзовый юноша и военмор в кожаной куртке.

Необыкновенное смятение охватывает военмора. Он чувствует жаркое гудение во всем теле и мурашки в пальцах рук.

Он еще раз повторяет вслух имя – не свое, а того, который сидит на чугунной скамье и задумчиво смотрит поверх головы военмора Пушкина в дымную вуаль парков, в не известное никому, кроме него. От звуков имени огромный рой оборванных мыслей налетает на военмора. Они звенят, как пчелы. И он даже поднимает руку и делает тревожный жест, будто отгоняя пчел.

Кружащиеся мысли связаны с чем-то, очень давно позабытым. Но он никак не может вспомнить, что он позабыл. Воспоминание рождается мучительно медленно.

Далекие и в то же время необычайно близкие слова наплывают на него из прошлого, из полузабытого детства. В словах есть ритм. Он осязателен и настойчив.

Александр Семенович Пушкин отбивает ногой такт этого ритма. Все чаще и чаще. Вот! Сейчас будут пойманы слова, быстро мелькающие, как золотые рыбки, в глубине памяти.

Хмурое лицо военмора освещается виноватой улыбкой. Только сейчас, за истомленностью и небритой щетиной на щеках, можно разглядеть настоящую молодость военмора.

Он наклоняет голову набок и, словно прислушиваясь, говорит тихо и вразяжку:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца.

Ритм обрывается. Александр Семенович Пушкин шевелит губами и прищелкивает пальцами. Но в омуте памяти снова провал. Золотые рыбки умчались, сверкнув чешуей.

Военмор опускает голову и говорит сам себе укоризненно:
– Запамятовал, Сашка!

И вдруг снова смеется, по детски, беззаботно.

Все равно! Ну, забыл! Но внезапная загадка бронзового двойника разгадана. Смятение уступает дорогу любопытству.

Военмор перелезает через ограду и подходит вплотную к постаменту. Задрав голову, долго смотрит на памятник.

Кружащиеся снежинки ложатся на взбитые в беспорядке кудри Александра Сергеевича Пушкина, стынут на припухлых губах, на тонких плечах.

Александр Семенович Пушкин, осторожно ступая, обходит памятник кругом. На задней стороне постамента вырезана надпись.

Александр Семенович, подойдя вплотную, разбирает по слогам каменные строки:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен
Неколебим, свободен и беспечен.
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Стихи читались с трудом. Слог их был непривычен и малопонятен, слова скользили и убегали от сознания. Но загадочная музыка, таившаяся в них, качивала, несла на ритмических волнах, как необъяснимое колдовство.

Это ощущение издавна было знакомо Александру Семеновичу. Оно овладевало им всегда, когда ему приходилось слушать музыку. Был ли это пастушеский рожок из бузины, гармошка ли в кубрике, хрустальный гром рояля из открытого люка кают-компания, или духовой оркестр в кронштадтском парке, но всякая мелодия завладевала Александром Семеновичем неотразимо и повелительно. Она убаюкивала его и уносила в неизведанные и сладостные просторы.

Александр Семенович прочел по слогам последнюю строку. И

вдруг обаяние музыки сорвалось, развеянное темным подозрением.

Он еще раз прочел, повысив голос:

Отечество нам Царское Село.

Эта строка была понятна от первого до последнего слова. Больше: она повеяла в лицо дыханием чужого и ненавидимого мира.

И она заставила Александра Семеновича насторожиться.

Он отодвинулся от постамента и потемневшими глазами посмотрел на бронзовую спину Александра Сергеевича. В этом взгляде были смешаны подозрение и злость.

– Царское Село тебе отечество? – сказал он вслух с таким выражением, словно хотел сказать: Так вот ты кто такой! – Царское! – повторил он с нажимом. – Царя все помните!

Сжав челюсти, Александр Семенович круто обошел постамент и быстрыми шагами приблизился к оставленному за оградой чемодану.

Он подхватил его ловким и стремительным рывком под мышку. Еще раз исподлобья взглянул на памятник.

Бронзовый юноша, отечеством которого было Царское Село, смотрел теперь уже не через голову Александра Семеновича, а прямо на него. Чуть заметная усмешка, дружеская и печальная, змеилась на неподвижных губах.

Александр Семенович нахмурился, поправил бескозырку и зашагал.

Шел он размашисто и решительно. Словно после долгого колебания нашел верную линию, прямой, непетляющий путь.

Дела в укрепрайоне было много. Деятнадцатый год кипел.

В потревоженных и сдвинутых толщах страны глубоко бурлила кипящая, огненная лава, гоня на поверхность шлаки. Они выскакивали грязными гнойными пузырями, омерзительной накипью, шипели, брызгали перегоревшей гнусью и лопались. Шлаки плыли от периферии к огненным центрам. Туда, где жарче и сильной кипела лава, в которой они сгорали без остатка.

Революционный Петроград притягивал к себе эти шлаки, как магнит. Вокруг Петрограда все время было беспокойно.

Александр Семенович Пушкин с головой ушел в работу. Времени не хватало затыкать ежеминутно обнаруживавшиеся прорехи.

Ближайшим помощником Александра Семеновича оказался военрук укрепленного района, бывший полковник Густав Максимилианович Воробьев.

Сочетание пышно оперного, чужеземного имени и отчества с заурядной и смешной русской фамилией удивляло многих. Военрук в таких случаях раздраженно объяснял, что его прапрадед, прожив всю жизнь в Польше, принял католичество, и от него пошли Воробьевы с иностранными именами.

Объяснять приходилось часто, и это приводило старика в бешенство. Это и заставило его просить о переводе из петроградского штаба, где была вечная толчея людей и вечное любопытство, в заштатный и немногочисленный укрепрайон.

В первый день вступления в должность старик созвал всех сотрудников штаба района. Они собрались в назначенный час, ожидая каких-либо важных сообщений.

Густав Максимилианович вышел к ним из кабинета, разгладил усы и произнес короткую речь. Смысл ее сводился к тому, что, не желая рассказывать каждому поодиночке историю своих прозвищ, военрук Воробьев сообщает ее для сведения всех в целях прекращения бесцельного любопытства. Изложив события жизни своего предка, Густав Максимилианович выразил надежду, что совместная работа с новыми сослуживцами будет приятна, поклонился, как актер, удачно спевший арию, и ушел, оставив сотрудников в полном недоумении.

Был он малого роста, аккуратен и подтянут. Серебряный бобрник над высоким лбом и белые усы блестели свежестью только что выпавшего инея.

Он был честным и преданным работником, восторженным либералом шестидесятнического толка.

В день передачи должности коменданта укрепрайона Александру Семеновичу старик, окончив официальную информацию о положении в районе, выжидательно посмотрел на нового начальника.

– Чего еще? – спросил Александр Семенович, видя неуспокоенность собеседника.

– Вас, вероятно, удивляет несоответствие моего имени и отчества моей фамилии? – сердито начал военрук.

Александр Семенович удивленно покосился на Воробьева.

– С чего вы взяли? Фамилии как фамилии... А имя-отчество хоть сразу не выговоришь, а все же ничего несоответственного не видеть.

Густав Максимилианович Воробьев внезапно весь порозовел от удовольствия. Казалось, даже усы приняли розоватый оттенок.

– Как приятно встретить человека столь свободных и широких взглядов! – сказал он, умиротворенно улыбаясь. – Я очень устал от бесцеремонного любопытства окружающих. Имена и прозвища мы не сами выбираем для себя, не правда ли, товарищ Пушкин? Вот, например, вы, наверное, не выбрали бы себе имени и фамилии, которая тоже должна стеснять вас...

– Это с чего же ради? – Александр Семенович поднял голову от сводки артиллерийского имущества. – Чего мне стесняться?

– Прошу извинить, – Воробьев склонился в изящном полупоклоне, – если я коснулся неприятной вам темы. Но вы должны сами понимать, что при имени и фамилии великою поэта у каждого должен возникать ряд ассоциативных предположений. Иначе говоря, на вас всегда ложится тяжелая тень прославленного имени. Это затрудняет...

– Фамилии у вас русское, а разговор вроде имени-отчества, не сразу провернешь, – перебил, мрачняя, Александр Семенович. – Я кочегар. Кроме горя, в кочегарке ничего не хлебал. Со мной просто говорить надо, а не загвоздки выклеивать...

– Извините, ради бога! – испуганно сказал Воробьев. – Я совершенно не то... Я просто хотел сказать, что здесь, в Детском Селе, ваша фамилия и имя звучат несколько парадоксально.

– Ну вот... Говорите, хотели сказать просто, а опять загнули словцо!

– Парадоксально – по-русски значит неправдоподобно, – мягко пояснил Воробьев. – В самом деле, здесь каждому мальчишке известно, что в нашем городе жил и учился Александр Сергеевич Пушкин. А теперь приехали вы, Пушкин, и к тому же еще Алек-

сандр...

– Ну и что? – вдруг зверея, рыкнул Александр Семенович. – Чего вы мне тычете под хвост вашим Пушкиным! Мне с ним не чай пить! Ему вон Царское Село – отечество, так на памятнике вырезано. А я в Гнилых Ручьях родился. Он, может, генералом был, а меня тятка с первого года из школы взял и в аптеку мыть бутылки за три рубля отдал. Я писать еле могу, и этого Пушкина только и помню, что тятя, тятя, наши сети и там про мертвеца... Чихал я на Пушкина! Нам нынче Детское Село отечество. А Царское мы с царем просто похерили! Да!

Воробьев медленно отступал к двери, пока Александр Семенович нервно выбрасывал злые слова. У двери он сложил руки перед грудью, как будто собираясь молиться, и когда Александр Семенович кончил, старик сказал, и в голосе его комукрепрайона ощутил необычайное волнение и печаль:

– Боже мой, боже мой! Вы, сегодняшний Пушкин, ничего не знаете об Александре Пушкине! Вы даже не знаете, что именно царская Россия отравила ему жизнь и задушила его! Вы...

Александр Семенович встал злой, стиснув кулаки в карманах куртки.

– Товарищ военрук! Я вам вот что скажу: идите подобру-поздорову работу сполнять. Вы тут бузите насчет Пушкина, а часовые у пороховых складов сигарки смолят! Дело нужно делать, а не лясы точить.

Густав Максимилианович Воробьев выпрямился и вытянул руки по швам.

– Слушаю, товарищ комендант!

Выходя, он оглянулся на зарывшегося в сводки Александра Семеновича. Во взгляде старика были недоумение и обида.